

Дмитрий Цыганов

Опущение сталинизма:

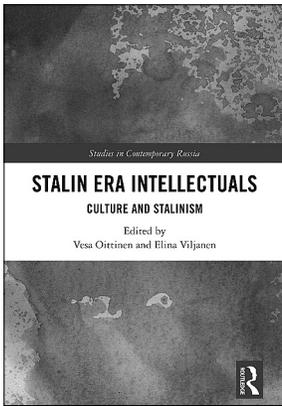
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ СМЫСЛЫ
СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ 1920—1950-х гг.

DOI: 10.53953/08696365_2023_182_4_350

Stalin Era Intellectuals: Culture and Stalinism / Ed. by V. Oittinen, E. Viljanen.

L.; N.Y.: Routledge, 2023. — XIV, 270 p. — (Studies in Contemporary Russia).

Коллективная монография «Интеллектуалы сталинской эпохи: Культура и сталинизм», посвященная различным советским интеллектуальным практикам 1920-х — начала 1950-х гг., примечательна подчеркнутой интердисциплинарностью и отмечена претензией на многостороннее представление и анализ «социальных, интеллектуальных и культурных явлений в Советском Союзе в так называемую эпоху “сталинизма”» (с. 1). Составители отмечают: «Предлагая новый взгляд на советскую философию естественных и гуманитарных наук, лингвистику, философию, музыковедение, литературу и математику с точки зрения общей теории культуры, наша книга бросает вызов представлению о гуманитарных науках сталинской эпохи как о простой пропаганде» (с. 11)¹. Между тем структура книги организована не вполне очевидным образом: самозамкнутые главы политико-философской направленности перемежаются несколькими статьями по частным вопросам истории науки в формате case-study. В рецензируемом томе нет ни единого сюжета, ни сквозной идеи, которая получала бы развитие. Чтобы показать это наглядно, в обзоре мы сохраним избранный составителями порядок глав.



Во Введении *Элина Вильянен* и *Весы Ойттинен* вступают в спор с Шейлой Фицпатрик и Стивенем Коткиным и отказываются от чрезмерной символизации сталинизма, возвращая ему его «первоначальный политический смысл» (с. 7). Их общий методологический посыл заключается в рассмотрении результатов деятельности теоретиков советской культуры с точки зрения, «проводящей различие между сталинизмом и культурой» (с. 3). Теоретики и практики советской культуры, по словам авторов, осознанно шли на сделку с властью, чтобы «получить некоторый уровень автономии, который позволил бы им действовать в своих областях» (с. 10). Отрицая тотальность сталинского политического контроля, авторы статей ставили своей задачей последовательное и тщательное «препарирование» советских гуманитарных концепций с целью отделения их собственно интеллектуальной составляющей от интегральной части сталинского пропагандистского соцреалистического дискурса.

1 При этом, к сожалению, не уточняется, кто придерживается такого одностороннего взгляда и в каких работах он оказывается ведущим.

Вильянен и Ойттинен также пишут о том, что Сталин не обладал собственной концепцией советского искусства, а «сталинизм, как и сталинское “культурное управление государством”, характеризовался *паразитизмом* в использовании культуры для достижения политических целей» (с. 8)². Между тем появившиеся в последние годы исследования³ свидетельствуют об обратном: Сталин не только обладал индивидуальным (пусть и весьма противоречивым⁴) видением перспектив развития соцреалистического искусства, но и определял эти перспективы, посредством присуждения Сталинских премий формируя советский эстетический канон. Более того, послевоенная «многонациональная литература», которая якобы «качественно» превосходила советскую литературу 1920-х — начала 1940-х гг., максимально сблизилась со сталинским представлением о благоприятных итогах писательской деятельности. Иными словами, действительное наконец совпало с желаемым, а имперское воображение советского вождя сумело стереть и эту, как казалось, незыблемую границу. Однако вскоре литературный процесс начал размежевываться с догмами эстетического учения Сталина⁵. Вильянен и Ойттинен приходят к следующему выводу: «Сталин редко стремился контролировать культуру тотальным образом. Он осознавал пределы контроля над культурой» (с. 10). При этом составители, увлеченные очень подробным различением «ревизионистского» и «постревизионистского» подходов в историографии, явно не озаботились тем, что сталинское руководство культурным производством было отнюдь не равномерным, а степень контроля в известной мере определялась личными соображениями вождя.

Основная часть сборника открывается статьей *Лишья Буржо* «Борьба авангарда с феноменологией: “Новый реализм” Густава Шпета». В 2021 г. в Издательстве Хельсинкского университета в серии «*Slavica Helsingiensia*» она на основе своей диссертации выпустила монографию «Теория Густава Шпета о внутренней

-
- 2 Теоретической опорой для этого тезиса составителей послужили положения из книги Г.А. Бордюгова и В.А. Козлова «История и конъюнктура: субъективные заметки об истории советского общества» (М., 1992).
 - 3 См., например: *Добренко Е.А.* Поздний сталинизм: эстетика политики. М., 2020. Т. 1—2; *Frolova-Walker M.* Stalin's Music Prize: Soviet Culture and Politics. London, 2016; *Any C.* The Soviet Writers' Union and Its Leaders: Identity and Authority under Stalin. Evanston; Illinois, 2020.
 - 4 О противоречивости эстетических взглядов Сталина вспоминал Шепилов: «Иногда он предъявлял очень высокие требования к художественной форме и высмеивал попытки протащить на Сталинскую премию произведение только за политически актуальную фабулу. Но нередко он сам оказывался во власти такой концепции: “Это вещь революционная”, “Это нужная тема”, “Повесть на очень актуальную тему”. И произведение проходило на Сталинскую премию, хотя с точки зрения художественной формы оно было очень слабым. <...> Наряду с высокой требовательностью к художественным достоинствам произведений, Сталин иногда в этом вопросе проявлял непонятную терпимость и такую благосклонность к отдельным работам и писателям, которая не могла не вызывать удивления» (*Шепилов Д.Т.* Непримкнувший. М., 2017. С. 130, 132). Такую «благосклонность» Сталин проявлял, например, по отношению к Ф. Панферову, С. Бабаевскому и М. Бубеннову.
 - 5 Этот процесс обусловил рост внимания к сталинскому теоретическому наследию. Основной задачей «литературоведов» стало буквальное «сведение кондов с концами» (см., например: *Бабушкин Н.Ф.* И.В. Сталин о художественной литературе: стенограмма публичной лекции, прочитанной в г. Томске в январе 1950 г. Томск, 1950; *Еголин А.М.* И.В. Сталин и советская литература: стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории Общества в Москве. М., 1950; Вопросы литературоведения в свете трудов И.В. Сталина по языкознанию. М., 1951).

форме слова: Феноменологическое исследование»⁶, где вопрос о «новом реализме» был затронут, но не освещался столь подробно. Уже в раннесоветские годы воспринимавшиеся как маргинальные, философские построения Густава Шпета рассматриваются Буржо в контексте «консервативного поворота» с точки зрения их антиформалистской направленности, надежно усвоенной и теоретиками марксистской ориентации. Суждения Буржо о теоретическом наследии Шпета в контексте советского гуманитарного знания ограничиваются констатацией его антиавангардистской модальности и беглым указанием на несколько фактов их негативной рецепции советскими методологами искусства (см. с. 31—32). Вывод исследователя неутешителен, но закономерен: «Философская работа была невозможна для Шпета при Сталине. Его наследие было вычеркнуто из советской интеллектуальной истории и вновь открыто только после его реабилитации в 1956 году» (с. 33). Такая категоричность заставляет усомниться в правомерности поставленного Буржо вопроса о месте шпетовских идей в теоретико-культурном и эстетическом дискурсах сталинской эпохи. Явный акцент на философских нюансах шпетовского учения заслонил его практический смысл: работы Шпета были едва ли не важнейшим проводником идей Э. Гуссерля, в чью орбиту попали различные теоретики гуманитарного знания — от М. Бахтина до Р. Якобсона⁷. Кроме того, Буржо обходит вопрос о влиянии феноменологических штудий на творчество советских поэтов и писателей, тогда как этот аспект оказывается центральным, например, для творческой эволюции лирики и прозы Бориса Пастернака, что отчетливо проявилось в «Докторе Живаго» (1957) и особенно в стихотворениях в этом романе.

Статья Марины Быковой «И.В. Сталин и философия в Советской России» посвящена сталинскому пониманию марксистской теории в статье «О диалектическом и историческом материализме» (1938)⁸ и его влиянию на характер советской философской мысли. Отметим, что подобная постановка вопроса отнюдь не нова, а убедительное осмысление эта проблема, как представляется, уже обрела в книге А. Юрганова⁹, не упомянутой в исследовании Быковой. Исходный тезис статьи Быковой прост и понятен: всевозможные манипуляции марксистско-ленинской идеологией были способом удержания политической власти и оправдания «перегибов». Исследователь точно подмечает, что в период сталинизма «философия утрачивает статус свободного интеллектуального предприятия с открытым пространством для выражения новаторских идей и оригинальных взглядов. Более того, когда идеология берет верх над собственными интересами философии, сама философия становится нежизнеспособной. Она претерпевает существенные изменения и, становясь утилитарной, обслуживает “нужды” определенных социальных слоев и их политические интересы, а не правду» (с. 38). Однако далее автор, вступая в скрытую полемику с составителями сборника, существенно расширяет рассматриваемую проблематику и трактует созданный Сталиным марксизм-ленинизм как дискурс, который породил конкретные реалии и практики «социалистической действительности». В то же время статья Быковой, построенная как подробный

6 См.: Bourgeot L. Gustav Shpet's Theory of the Inner Form of the Word: A Phenomenological Study. Helsinki, 2021. P. 222—240.

7 В частности, об этой роли шпетовских философских построений пишет М. Дене в не упомянутой Буржо книге (см.: Dennes M. Husserl — Heidegger. Influence de leur oeuvre en Russie. Paris, 1998).

8 Эта статья была опубликована в «Правде» (1938. № 252. 12 сент.) и вошла в качестве подраздела в книгу «История ВКП(б): Краткий курс».

9 См.: Юрганов А.Л. Культ ошибки: Теоретический фронт и Сталин (середина 20-х — начало 30-х гг. XX в.). М.; СПб., 2020.

комментарий к сталинским тезисам¹⁰, отличается изрядной для специальной литературы справочностью, стремлением к не всегда уместной объяснительности. Не до конца ясно и назначение пространных фрагментов, посвященных описанию общеизвестных деталей борьбы с марризмом в языкознании в начале 1950-х гг., от которых Быкова почему-то переходит к характеристике философской дискуссии 1947 г. и анализирует ждановскую речь, пытаясь обнаружить подлинный смысл обвинений Г. Александрова в отступлении от примата «партийности». Однако главной задачей выступления Жданова была, по нашему мнению, не «проработка» недавно назначенного директора Института философии АН СССР, а реанимация несколько позабытого «большевистского метода самокритики»¹¹. Последний раздел статьи посвящен теоретической работе Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» (1952). Быкова, подробно прослеживая расхождения между марксистским и сталинским представлениями о работе экономических законов, упустила, может быть, главное в этой брошюре — недвусмысленный отпор популярным в обществе «пацифистским» настроениям¹².

Исследование *Весы Ойттинена* «“Меньшевистствующий идеализм” и сталинизация философии» посвящено политико-философской дискуссии о меньшевистствующем идеализме в конце 1920-х — начале 1930-х гг. В центре внимания ученого — различные маргинальные ответвления марксизма в его специфическом раннесоветском изводе (в частности, концепции А. Богданова, А. Деборина, М. Лифшица, Г. Лукача, М. Митина, Г. Плеханова, П. Юдина, деятельность Комакадемии, Института красной профессуры и др.). Примечательно, что Ойттинен не только дает довольно широкую панораму самой дискуссии, удачно прослеживает ее типологическую связь с событиями 1954—1955 гг. (именно тогда появляются «Тезисы о предмете философии» Э. Ильенкова и В. Коровикова), но и проводит убедительные параллели между интеллектуальными и художественными практиками: исследователь намечает весьма продуктивные направления анализа текстов Андрея Платонова в контексте описанных дискуссий¹³.

-
- 10 И здесь автор выступает скорее как критик, давая оценку стилю текста, но не обнаруживая его подлинную прагматику. Ср.: «Безусловно, текст написан ясно; он лаконичен, легко читается и не требует какой-либо подготовки в области философии или знания специальной философской лексики для понимания выдвигаемых автором идей. Однако, будучи доступной, статья весьма поверхностна в философском отношении и далеко не является точным изложением подлинных марксистских позиций в философии» (с. 42).
- 11 См.: *Цыганов Д.М.* От самокритики к самоуничтожению: Реорганизация советского эстетического канона в эпоху позднего сталинизма // Новое литературное обозрение. 2022. № 177. С. 135—148.
- 12 Так, Сталин писал: «Некоторые товарищи утверждают, что в силу развития новых международных условий после второй мировой войны, войны между капиталистическими странами перестали быть неизбежными. Они считают, что противоречия между лагерем социализма и лагерем капитализма сильнее, чем противоречия между капиталистическими странами, <...> что <...> войны между капиталистическими странами перестали быть неизбежными. Эти товарищи ошибаются. Они видят внешние явления, мелькающие на поверхности, но не видят тех глубинных сил, которые, хотя и действуют пока незаметно, но все же будут определять ход событий» (*Сталин И.В.* Экономические проблемы социализма в СССР. М., 1952. С. 32—33).
- 13 Между тем предложенный Ойттиненом подход мог бы разрешить некоторые парадоксы в трактовке платоновского творчества, на которые обратил внимание В. Подорога (см.: *Подорога В.А.* Пространство и власть: Геополитика русского авангарда. А. Платонов и В. Шаламов. М., 2022).

Эту лишь вскользь намеченную линию отчасти продолжает *Мария Чехонадских* в статье «Голая правда факта: Андрей Платонов на задворках фактографии», пытаясь поместить творческую и критическую практику Платонова в контекст полемики об основных категориях *нового* искусства между В. Шкловским, Б. Арватовым, С. Третьяковым, Г. Лукачем и М. Лифшицем. Несмотря на весьма нетривиальную постановку вопроса, исследователь довольно подробно излагает факты и гипотезы в соответствии с закрепившимися в науке концептуальными стереотипами, требующими, на наш взгляд, пересмотра. Остановимся лишь на одном примере. Так, в связи с характеристикой культурной обстановки 1930-х гг. автор утверждает: «В условиях постепенно вызревающего сталинизма возникает канон традиционного искусства с новыми социалистическими ценностями, авторитетно подавляющий любые противоречивые контраргументы» (с. 75). Казалось бы, эта мысль не нуждается в специальных пояснениях, поэтому автор ограничивается лишь констатацией. Действительно, с начала 1930-х гг. начался процесс организационной перестройки, который и стал едва ли не решающим стимулом к установлению гегемонии соцреализма. Однако, как нам представляется, оформление целостного эстетического канона официального искусства произошло не одновременно с регламентацией литературного производства и организацией писательского быта в промежутке между 1932 и 1934 гг. Тогда был сформирован первоначальный «пантеон» советских «классиков», но канон произведений еще не сформировался. Позднее и иерархия авторов будет критически переосмыслена и даже частично переопределена в ходе перманентной стабилизации «метода». Начало складывания соцреалистического канона отмечено институционализацией механизмов, определявших степень «каноничности» того или иного текста, его положение в иерархии советской культуры. «Рождение» сталинского культурного канона до начала 1940-х гг. не произошло по причине того, что механизмы его формирования и стабилизации в период 1920—1930-х гг. не были до конца отлажены.

Чехонадских занимают скорее политические реакции Платонова, чем эстетическая рецепция идеологических смыслов; вывод автора столь же убедителен, сколько и тривиален: «Платонов остается приверженцем экспериментальной культуры 1920-х годов. Корпус его произведений состоит из циклов рассказов, множества неоконченных романов и эссе. Другими словами, он предпочитает фрагмент суммирующей функции романа» (с. 86).

Философский блок рецензируемого тома продолжен статьей *Элины Вильянен* «Повседневный симфонизм: Советская теория популярной музыки Бориса Асафьева», в которой советская музыкальная теория как основа «культурности» возводится к философии «внутреннего» духовного мира («внутренней жизни») позднего русского Серебряного века, воплотившейся в опытах А. Скрябина. Исследователь убедительно рассматривает музыку как «политическую культуру с присущими ей политическими акторами, целями и стратегиями» (с. 92) в контексте «культурной революции» и последовавшей за ней «тоталитарной реставрации», однако, несмотря на обилие литературы на эту тему¹⁴, не совсем внятно пишет об изменениях

14 См. хотя бы: *Soviet Music and Society under Lenin and Stalin*. L., 2004; *Гойови Д.* Новая советская музыка 20-х годов. М., 2005; *Раку М.* Поиски советской идентичности в музыкальной культуре 1930—1940-х годов: Лиризация дискурса // Новое литературное обозрение. 2009. № 100. С. 184—203; *Воробьев И.С.* Соцреалистический «большой стиль» в советской музыке (1930—1950-е годы). СПб., 2013; *Ганжа А.* Советская музыка как объект сталинской культурной политики // *Логос*. 2014. № 2 (98). С. 123—155.

сталинского музыкального проекта. Как показал Л. Максименков¹⁵, советская популярная музыка являлась сферой латентного существования модернистской эстетической теории, лишь отчасти подвергшейся неизбежной политизации. Вильянен сосредотачивается на периоде 1920-х гг. и показывает эволюцию интеллектуальной программы «симфонизма» Б. Асафьева, прослеживая, в каком направлении под влиянием политических и бытовых условий происходила деформация его основных тезисов. Исследователь резюмирует свои разыскания вполне ожидаемо: «В сталинском контексте асафьевская теория симфонизма потеряла силу критического индивидуального восприятия, направленного на создание новой этически более высокой культуры» (с. 109).

Статья *Саши Фрейберга* с интригующим названием «Противостояние модернизму в сталинскую эпоху: Михаил Лифшиц как критик и философ культуры», с одной стороны, продолжает намеченную несколькими предыдущими исследованиями историко-философскую линию, а с другой стороны, содержит попытку анализа работы Лифшица «О культуре и ее пороках» (1934), который соединил бы область весьма фрагментарной эстетической теории с областью творческой практики. Автор пытается выстроить системный облик философской концепции Лифшица, хотя она, как считает Фрейберг, не обладала качеством системности. Кроме того, этот текст, как и все другие вошедшие в сборник, содержит указание на широкую адресацию, но вместе с тем понимание некоторых фрагментов существенно затруднено даже для специалистов. Фрейберг пишет об антимодернистской саморепрезентации Лифшица и отмечает: «Хотя особенно молодые интеллектуалы (в частности, художники, дизайнеры и писатели), а также более открытая официальная культурная политика периода оттепели начали принимать современное искусство и модернистские проекты как либеральные альтернативы, Лифшиц провозгласил (в статье 1964 г. “Proč nejsem modernista?” (“Почему я не модернист?”) в чешском журнале. — Д. Ц.), что на самом деле они собираются отказаться от коммунистического идеала. Для интеллигенции социалистических стран это должно было выглядеть как сталинский откат» (с. 118). Между тем отношение к модернизму в постсталинской советской культурной доктрине не было столь однозначным¹⁶. По-своему интересны наблюдения исследователя над «антифашистской» модальностью работ Лифшица середины 1930-х гг. Однако эти нетривиальные наблюдения Фрейберга несколько теряются на фоне нечеткой характеристики теоретического метода; порой невозможно понять, какие идеи и мысли принадлежат Лифшицу, а какие — автору статьи. (Отдельно отметим выгодно выделяющуюся на общем фоне обширную библиографию.)

Ютта Шеррер в статье «Максим Горький как представитель пролетарского гуманизма» на примере концепции «пролетарского гуманизма» рассматривает давно интересующую ее антропологическую проблематику литературно-публицистического наследия Максима Горького¹⁷. Несомненным достоинством этого исследования стало внимание, проявленное к русскоязычным источникам и иссле-

15 Максименков Л.В. Сумбур вместо музыки: Сталинская культурная революция, 1936—1938. М., 1997. К сожалению, Вильянен даже не упоминает это исследование, предпочитая ссылаться на книгу Волкова о Шостаковиче 2004 г. в английском переводе.

16 См. об этом: *Вольнская А.Г.* Модернизм как советский антиканон: Литературные дебаты 1960—1970-х гг. // *Логос.* 2017. № 6 (121). С. 173—202.

17 Эта статья явилась закономерным развитием идей, ранее сформулированных Шеррер (совместно с Даниэлой Стейла) в докладе «Идея “нового человека” на фоне сложной дружбы Максима Горького и Александра Богданова» на международной конференции «Мировое значение М. Горького», состоявшейся в конце марта 2018 г. в ИМЛИ.

довательской литературе, основанной на материалах архива Горького в ИМЛИ. Однако крупницы авторских наблюдений и выводов оказались заслонены излишне объемными контекстуальными выкладками (так, подробно описывается феномен богостроительства, нетипичная религиозность Горького, эпизод поездки писателя в исправительно-трудовой лагерь на Соловках, а затем и на Беломорско-Балтийский канал, выступление на писательском съезде в 1934 г. и т.д.). Немало и трюизмов, например: «С 1928 по 1934 год <...> Горький играл очень важную общественную роль в Советском Союзе в качестве сталинского трибуна и культурного чиновника» (с. 139); «“Пролетарский гуманизм” был воплощен и легитимирован исключительно пролетариатом» (с. 142); и, наконец: «Фотографии посещений Горьким исправительно-трудовых лагерей <...>, а также его главные эссе <...> сегодня можно легко найти в российском государственном Интернете» (с. 150). В итоге ни новых источников, ни даже нового взгляда на старые источники Шеррер, к большому сожалению, не предложила.

Татьяна Левина в статье «Софья Яновская в защиту абстракций: Между советской идеологией и буржуазным идеализмом» обращается к проблеме идеологизации точных и смежных с ними наук в период борьбы с «буржуазными пережитками» и «вредительством». На примере конкретных эпизодов биографии математика Софьи Яновской (выступления против идеализма в философии математики, знакомство и общение с Л. Витгенштейном, участие в подготовке дела Н. Лузина и др.) Левина акцентирует гендерную перспективу своего исследования и предлагает обобщающий взгляд на проблему места женщины в движении за развитие образования в первые полтора десятилетия существования СССР. Цельный и последовательный в выводах текст лишен, однако, включенности локального сюжета в контекст времени, предполагающей установление неочевидных мотиваций поведенческих стратегий интеллектуалов в «закрытых обществах».

«Антифашистская» социалистическая концепция Бухарина приобретает культурное измерение в исследовании *Ойттинена* и *Вильянен* «Антифашистская культурная теория Николая Бухарина и концепция социалистического гуманизма». Сразу отметим, что ученые неоднократно обращаются к анализу тюремных рукописей Бухарина, но при этом даже не упоминают о вышедшем в 1996 г. двухтомнике, существенно дополненном в одноименном тысячестраничном издании 2008 г.¹⁸ Исходный тезис статьи состоит в утверждении, что «Бухарин появляется в середине 1930-х гг. как теоретик, странным образом оторванный от реалий формирующегося сталинского общества» (с. 177). Тезис этот, на наш взгляд, необедителен. Бухарин, в конце 1920-х — начале 1930-х осознавший неизбежность сталинского «воцарения», оформлял собственную не вполне упорядоченную эстетическую концепцию, во многом отталкиваясь от наметившейся тогда тенденции к установлению гегемонии «большого стиля». Сталин определенно видел в Бухарине соперника в деле «культурного строительства» и противодействовал ему директивно¹⁹. В то же время существенная часть статьи посвящена отнюдь не изначально поставлен-

18 См.: Узник Лубянки: Тюремные рукописи Николая Бухарина. М., 2008.

19 Примером такой директивы может служить адресованная Ежову резолюция Сталина на письме Л. Брик, в которой он просил обратить внимание на это письмо, потому как «Маяковский был и остается лучшим и талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Безразличие к его памяти и к его произведениям — преступление» (*Сталин И.В.* Сочинения. Тверь, 2006. Т. 18. С. 115). По всей видимости, этот жест Сталина был обусловлен стремлением символически расправиться с «бывшим товарищем» Бухариным, выдвигавшим на роль «талантливейшего» поэта Пастернака (подробнее см.: *Флейшман Л.С.* Борис Пастернак и литературное движение 1930-х гг. СПб., 2005. С. 361—412).

ному вопросу: авторы на многих страницах рассуждают о бухаринской интерпретации марксизма, его полемике с политической теорией Ленина, игнорируя почти дословные схождения с положениями Троцкого, высказанными в книге «Литература и революция» (1923). В общей сложности около двух десятков страниц отошли под подробный пересказ работ марксистского теоретика. Не вызывает поэтому удивления отсутствие каких-либо внятных выводов: Бухарин, с точки зрения авторов, противостоял авторитарному контексту, но вместе с тем воспринимал поступки Сталина как «необходимое зло на пути к обществу будущего, как некое созидательное разрушение, разрушающее старый капиталистический мировой порядок» (с. 197).

В статье *Элен Ладариа* «Теория языка Николая Марра и историческая наука мышления Константина Мегрелидзе» яфетическая теория («новое учение о языке») Н. Марра рассматривается как «социалистическая альтернатива» традиционному («буржуазному») сравнительно-историческому языкознанию. В качестве парного предмета анализа выступает «социология мышления» К. Мегрелидзе. Автор пытается решить уравнение со всеми неизвестными, как бы объяснив одну специфическую интеллектуальную концепцию через другую такую же спекулятивную концепцию. Убедительности проводимых параллелей не способствует и обильное автокомментирование, которое превращает исследовательскую статью в отчет о провалившемся эксперименте. Вдаваясь в тонкости несостоятельных построений Марра и Мегрелидзе, Ладариа напрочь теряет из поля зрения подробно описанный Б. Илизаровым и критически осмысленный Е. Добренко и П. Дружининым²⁰ институциональный контекст тех лет. В результате исследователь пытается соорудить замкнутую на предмете объяснительную модель и терпит закономерную неудачу, утверждая, что «даже прямые ссылки Мегрелидзе на Марра в первоначальном варианте его книги недостаточно объясняют теоретическую связь двух авторов. <...> связь между двумя авторами лежала на более глубоком теоретическом уровне. Именно через гештальт-теорию, реализованную в его концепции сознания и “мыслительной деятельности”, Мегрелидзе уточняет, как язык, по Марру, встраивается в социально-исторический континуум» (с. 206). В попытке обосновать этот тезис исследователь самостоятельно строит во многом производный теоретический конструкт, в котором постулирует взаимозависимость двух интеллектуальных систем. Однако ни одного теоретически внятного и практически наглядного аргумента ученому отыскать, как представляется, не удалось.

Едва ли не самый локальный «кейс» — советская индология в сталинскую эпоху — лег в основу исследования *Крейга Брандиста* «Между критикой и конформизмом: Языки и культуры касты и нации в индологии сталинской эпохи». Ученый сразу же намечает свои методологические ориентиры и постулирует оппозитивность по отношению к построениям Фуко, предпочитая главенство материала над концепцией: «Попытки Фуко, — отмечает исследователь, — рассматривать целые области как дискурсы властного знания потенциально соблазнительны, но в конечном итоге слишком упрощают способы, с помощью которых активные агенты [культурного поля] прокладывали себе путь» (с. 218). Брандист на материале работ А. Баранникова детально исследует политические смыслы, которыми обросла индология как область почти запрещенной в послевоенное десятилетие советской

20 См.: *Илизаров Б.С.* Почетный академик Сталин и академик Марр. М., 2012; *Добренко Е.А.* Споря о Марре (Рец. на кн.: Илизаров Б.С. Почетный академик Сталин и академик Марр. М., 2012) // Новое литературное обозрение. 2013. № 119. С. 340—348; *Дружинин П.А.* Яфетические зори в Российской академии наук // Там же. С. 349—357.

индоевропеистики²¹; бегло намечаются пропагандистские векторы трактовки вопроса о предыстории наций (см. с. 225). При всех явных достоинствах этой работы — нетривиальной постановке вопроса, обилии фактического материала, последовательности и убедительности аргументации — недостаточно разработанным остается собственно лингвистический аспект ее комплексной проблематики (например, исследователь почему-то вовсе проигнорировал роль М.Н. Петерсона — учителя В.А. Кочергиной — в становлении советской школы санскритологии). Дело в том, что именно *вопрос о языке* обрел первостепенное значение в контексте набравшей обороты холодной войны. Не случайно Сталин в разговоре с корреспондентом «Правды» в связи с произнесенной 5 марта 1946 г. в Вестминстерском колледже Фултонской речью акцентировал влияние именно на языковом факторе оформлявшегося противостояния²².

В заключительной статье *Сьюзан Иконен «Сталинизм, война и художественное отображение реальности: Критика Константином Симоновым “системы молчания” в 1956 году»* ставится задача проанализировать «мысли литературного деятеля и писателя Константина Симонова <...> с малоизученной точки зрения десталинизации» и выдвигается тезис: «...роль Симонова в процессе десталинизации была более значительной и была им сыграна гораздо раньше, чем считалось до сих пор» (с. 239). Работа Иконен выгодно выделяется на фоне предшествующих привлечением (пусть и весьма скудным: цитируется всего лишь одна стенограмма с текстом доклада Симонова, его письмо к Хрущеву и ряд второстепенных документов) архивных материалов из фондов РГАНИ и РГАЛИ. Однако ясно, что исследователь в ходе написания текста не вполне надежно усвоил различия между риторическим (тем, который он сам конструирует в мемуарной книге «Глазами человека моего поколения») и историческим образами советского литфункционера. Между тем А. Рыбаков дает Симонову-современнику весьма меткую оценку: «Симонов в партию, в политику пришел из литературы. Знаменитым его сделали война, время, советское время, ему Симонов служил не менее ревностно, чем Софронов и Грибачев, но, в отличие от них, был интеллигент, просвещенный царедворец, а не партийный монстр»; и далее: «Симонов не был сталинистом, но вписался, вжился в сталинскую эпоху, не сумел преодолеть ее инерции, не мог изменить себя»²³. В основе статьи — весьма театрализованный сюжет выступления Симонова на Всесоюзном совещании заведующих кафедрами литературы университетов и пединститутов в конце октября 1956 г. «Литературный генерал», некогда запятнавший свою

21 До войны индоевропеистика на волне популярности идей Марра не критиковалась как область «буржуазной» науки. Так, именно в середине — конце 1930-х гг. на русский язык были переведены и опубликованы «Курс общей лингвистики» (М., 1933) Фердинанда де Соссюра, вышла книга Антуана Мейе «Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков» (М., 1938). Однако в послевоенном СССР в связи с назревавшим переделом в языковедческой науке индоевропеистика как область гуманитарного знания была сначала маргинализована, а затем и вовсе вытеснена на задворки советского научного поля.

22 Давая вполне закономерный ответ на вопрос о негативных последствиях речи Черчилля для «дела мира и безопасности», Сталин отметил: «Английская расовая теория приводит г. Черчилля и его друзей к тому выводу, что нации, говорящие на английском языке, как единственно полноценные, должны господствовать над остальными нациями мира. По сути дела, г. Черчилль и его друзья в Англии и США предъявляют нациям, не говорящим на английском языке, нечто вроде ультиматума: признайте наше господство добровольно, и тогда все будет в порядке, — в противном случае неизбежна война» (Интервью тов. И.В. Сталина с корреспондентом «Правды» относительно речи г. Черчилля // Правда. 1946. № 62. 14 марта).

23 *Рыбаков А.Н.* Роман-воспоминание. М., 1997. С. 188—190.

репутацию участием в кампании по борьбе с «безродными космополитами», требовал (во многом вторя Владимиру Померанцеву²⁴) отойти от неукоснительного следования ждановским постановлениям, когда те фактически уже утратили свой статус «манифестов тоталитаризма». Кроме того, не выдерживает критики и взгляд Иконен на Симонова как на первого интеллигента, открыто высказавшегося против партийных постановлений, поскольку известно, что куда раньше схожие мысли публично высказала Ольга Берггольц²⁵. Приводя пространные цитаты из различных симоновских текстов, созданных уже после XX съезда КПСС, исследователь не говорит об их самооправдательной прагматике. Ясно, что Симонов, перекалывая вину на покончившего с собой Фадеева, намеренно сводил к минимуму собственную роль в установлении сталинского эстетического канона.

Безусловно, рецензируемый сборник представляет собой своевременную и перспективную попытку наметить контуры взаимодействия интеллектуальной практик и разнообразных эстетических теорий со сферой сталинского культурного производства. Важность этой попытки состоит в обнаружении сложных и не всегда очевидных траекторий влияния, их проблематизации. Однако методологическая инертность не дала замыслу авторов полноценно реализоваться и обрести адекватное поставленной задаче теоретическое измерение. Сталинизм, понимаемый группой исследователей как эпоха восторжествовавшей безальтернативности, стал рамкой, которая наложила непреодолимые ограничения на реализованные в сборнике метаописательные стратегии. (Именно поэтому авторы отдают большее предпочтение социалистическим концепциям Николая Бухарина и Льва Троцкого.) Постулированная видимость полного отсутствия развития теории и практики официального искусства в эпоху сталинизма (и особенно в 1940–1950-е гг.) обманчива, так как в отношении к этому многосложному периоду следует говорить о динамике иного порядка — не эволюционной, а накопительной. Некогда наметившиеся тенденции не исчезали из интеллектуального поля вовсе, но в латентном виде присутствовали в культуре, а порой и вновь внезапно актуализировались²⁶. И в этом отношении динамика сталинского культурного проекта стала главным свидетельством порочности сталинского диалектического постулата: четвертьвековой этап неумеренного количественного разрастания привел не к «качественному скачку», а к демонтажу соцреалистического канона²⁷.

-
- 24 См.: *Померанцев В.* Об искренности в литературе // *Новый мир.* 1953. № 12. С. 218–245. Отметим, что выдвинутые Померанцевым обвинения в «неискренности» советской литературы продолжали намеченную апрельской статьёй Ольги Берггольц «Разговор о лирике» (*Литературная газета.* 1953. № 46. 16 апр.) линию отвлеченного и скорее теоретического разговора о литературе.
- 25 См. об этом: *Громова Н.А.* Смерти не было и нет: Ольга Берггольц. Опыт прочтения судьбы. М., 2020. С. 272–279.
- 26 Так, например, произошло с политико-эстетической программой РАПП, ставшей своего рода «матрицей» советской литературной политики сталинизма (подробнее см.: *Юрганов А.Л.* Как товарищ Сталин стал руководить литературным фронтом // *Россия и современный мир.* 2017. № 3 (96). С. 200–221).
- 27 Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, проект № 20-18-00394 ««Стенограмма»: Политика и литература. Цифровой архив литературных организаций 1920–1930-х гг.».